

ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ,

РАССКАЗЫ

М. ШОЛОХОВ

ВАС. КУДАШЕВ

С. ЛЕОНОВ

М. ЗОТОВ

ПОЭМЫ И СТИХИ

С. ЩИПАЧЕВ

ЭС-ХАБИБ-ВАФА

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Г. КИШ

А. ИСБАХ

Н. ДОБЫЧИН

П Е Р Е Ж И Т О Е

Ф. ФРЕД

ПУБЛИЦИСТИКА

П. ЮДИН

И. РАЗИН

К Р И Т И К А

Г. ЛУКАЧ

А. СЕРАФИМОВИЧ

А. СЕЛИВАНОВСКИЙ

А. МИТРОФАНОВ

М. ПЛАТОШКИН

В. СТАВСКИЙ

Д. МАЗНИН

БИБЛИОГРАФИЯ

К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

9

3

2

В. Лугвской — Интернационал, стих. М. Шолохов — Тихий Дон, роман. В. Ставский — Зарницы (3 книга „Станицы“), В. Лугвской — Пудинг безработных, стих. Н. Ляшко — Рассказы. ЖИЗНЬ НА ХОДУ: Г. Киш — Германия сегодня. З. Чаган — Усилия (главы из книги „О Магнитострое“), В. Шуликов — Мечтатели и мастера. ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ: Ф. Панферов — Говорите голосом книг. А. Сурков — Через творческое размежевание к подлинной консолидации. ПУБЛИЦИСТИКА: Д. Заславский — Спекуляция на плане. И. Ерухимович — Изобличающий документ. КРИТИКА: Л. Авербах — За ленинскую партийность творческого метода. Н. Плиско — О „Разбеге“ В. Ставского

М. Шолохов — Тихий Дон, роман (продолжение). А. Сурков — Застава Ильича, стих. Вилли Бредель — Улица Розенгоф (отрывки из романа). Вл. Лугвской — Вахшстрой, стих. Вас. Кудашев — Камень на дороге, роман. Евг. Павличенко — Северный поход, стих. ЖИЗНЬ НА ХОДУ: Г. Киш — Карьера Адольфа Гитлера (продолжение) М. Запрудный — Лесорубы. Ив. Семенцов. Мистер Томас (глава из книги „Записки автогенщика“). В. Хандрос — В стране мирабилита. В. Шуликов — Мечтатели и мастера (окончание). ПЕРЕЖИТОЕ: Ф. Федотов — Фирма „Да-Шен-Ку“. ПУБЛИЦИСТИКА: Мих. Попов — Одна из великих побед техники. КРИТИКА: С. Нельс — „Последний из удэге“ — А. Фадеева. БИБЛИОГРАФИЯ: А. Михайлов — М. Добрынин — Против механистов и эклектиков. Б. Бакинский — В. Каверин — „Художник неизвестен“. С. М-с — Эмиль Мадарас — „Борьба Павла Чигайды“.

Мих. Шолохов — Тихий Дон, роман (продолжение). В. Ставский — Зарницы (продолжение). А. Гидаш — Моряки, стих. В. Кудашев — Камень на дороге, роман (продолжение). Э. Х. Вафа — Дорого обошедшийся урок, стих. Б. Левин — Возвращение, рассказ. Вл. Резчиков — Груз, стих. М. Киреев — Думай, сосед рассказ. М. Исаковский — Разговор с лошадью, стих. Ю. и В. Кртянц-Ивлиевы — Из мотивов токаря, стих. ЖИЗНЬ НА ХОДУ: Г. Киш — Карьера Адольфа Гитлера (продолжение). В. Хандрос — В стране мирабилита, очерк. А. Бобунов — Летчики, очерк. Ф. Федотов — Небесные собаки, очерк. Гарт Свит — Пища для души, очерк. КРИТИКА: И. Нович — Заметки о „Нашгороде“. Горбатова — Е. Злотова — Война лабораторий. БИБЛИОГРАФИЯ: Б. Другов — „Рейд Черного Жука“ — И. Макарьва. С. М-с — „Крепче стали“. Л. Шипилин. С. М-с — „О чем рассказал Григорьев“ — М. Вейс. Г. К. — „Тайбола“ — Ал. Зуева.

„МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ИСКУССТВОВЗНАНИЕ“

(б. „Литература и искусство“)

ОРГАН ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ЯЗЫКА КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

Ответствен. редактор С. ДИНАМОВ.

ЖУРНАЛ ИЛЛЮСТРИРОВАН.

„Марксистско-ленинское искусствознание“ выходит 12 раз в год. Об'ем каждой книжки журнала 160 стр. убористой печати.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—12 р., на 6 мес.—6 р., на 3 мес.—3 р.

ОТДЕЛЬНЫЙ НОМЕР — 1 р. 25 к.

ОКЛЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

АПРЕЛЬ

Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. ЦК констатирует, что за последние годы, на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства.

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАП, РАПП, РАМП и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезные размах художественного творчества. Это обстоятельство создаст опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству.

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы.

Исходя из этого, ЦК ВКП (б) ПСТАНОВЛЯЕТ:

- 1) Ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАП, РАПП);
- 2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти, стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
- 3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусств;
- 4) поручить Оргбюро разработать практические меры по проведению этого решения.

ЦК ВКП (б)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА

1 9 3 2

13-я типография Мособлполиграф.
Б. Лытровка 26. Статф. Б-176-2:0
12. к. л. 70430 зн. в п. л. Тираж
16000 экз.

Сдано в набор 17|IV-32 г. Подписано
к печати 3|V-32 г. Уполномоченный
главлита Б-15373 Техн. редактор
А. Жарков

ТИХИЙ ДОН

Р О М А Н

М И Х. Ш О Л О Х О В

(Продолжение)

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

XLVI

ДВЕНАДЦАТОГО апреля Первый Московский полк был жестоко потрепан в бою с повстанцами под хутором Антоновым, Еланской станицы.

Плохо зная местность, красноармейские цепи с боем сошли в хутор. Редкие казачьи двory, словно на островах, угнездились на крохотных участках твердой супесной земли, а замощенные хворостом улицы и проулки были проложены по невылазной болотистой топи. Хутор тонул в густейшей заросли ольшаника, в мочажинной, топкой местности. На искрайке его протекала речка Еланка, мелководная, но с илистым стрямким дном.

Цепью пошли стрелки Первого Московского сквозь хутор, но едва лишь миновали первые двory и вошли в ольшаник, как обнаружилось, что цепью пересечь ольшаник нельзя. Командир второго батальона — упрямый латыш, не слушая доводов ротного, едва вырвавшего из глубокого просова свою застрявшую лошадь, командовал: «Вперед!» — и первый смело побрел по зыбкой покачивающейся почве. Заколебавшиеся было красноармейцы, на руках неся пулеметы, двинулись следом за ним. Прошли сажен пятьдесят, по колону увязая в илу, и вот тут-то с правого фланга покатилося по цепи: «Обходят!», «Казак!», «Окружили!».

Две повстанческих сотни действительно обошли батальон, ударили с тыла.

В ольшанике первый и второй батальоны потеряли почти треть состава, отступили.

В этом бою самодельной повстанческой пулей был тяжело ранен в ногу Иван Алексеевич. Его на руках вынес Митька Кошевой и, едва не заколов красноармейца, скакавшего по дамбе, заставил взять раненого на патронную двуколку.

Полк был опрокинут, отброшен до хутора Еланского. Поражение губительно отозвалось на исходе наступления всех красноармейских частей, продвигавшихся по левой стороне Дона. Малкин из Букановской вынужден был отойти на двадцать верст севернее, в станицу Слащевскую; а потом, теснимый повстанческими силами, развивавшими бешеное наступление и во много раз численно превосходившими малкинскую дружину, за день до ледохода переправился через Хопер, утопив нескольких лошадей, и двинулся на станицу Кумылженскую.

Первый Московский, отрезанный ледоходом в устье Хопра, переправился через Дон на правобережье, ожидая пополнения, стал в станице Усть-Хоперской. Вскоре туда прибыл Сердобский полк. Кадры его по составу резко отличались от кадров Первого Московского. Рабочие — москвичи, туляки, нижегородцы, составлявшие боевое ядро Московского полка — дрались мужественно, упорно, неоднократно сходясь с повстанцами в рукопашную, ежедневно теряя убитыми и ранеными десятки бойцов. Только ловушка в Антоновском временно вывела полк из строя, но, отступая, он не оставил врагам ни единой обозной двуколки, ни одной патронной цинки. А рота сердобцев в первом же

бою под хутором Ягодинским не выдержала повстанческой конной атаки, завидя казачью лаву, бросила окопы и несомненно была бы вырублена целиком, если бы не пулеметчики-коммунисты, отбившие атаку шквальным пулеметным огнем.

Сердобский полк наспех сформировался в городе Сердобске. Среди красноармейцев — сплошь саратовских крестьян поздних возрастов — явно намечались настроения, ничуть не способствовавшие поднятию боевого духа. В роте было удручающе много неграмотных и выходцев из зажиточно-кулацкой части деревни. Комсостав полка наполовину состоял из бывших офицеров, комиссар — слабохарактерный и безвольный человек — не пользовался среди красноармейцев авторитетом; а изменники — командир полка, начштаба и двое ротных командиров, задумав сдать полк, на глазах ничего не видящей ячейки вели преступную работу по деморализации красноармейской массы, через посредство контрреволюционно настроенных, затесавшихся в полк кулаков, вели против коммунистов искусную агитацию, сеяли неверие в успешность борьбы по подавлению восстания, подготавливая сдачу полка...

Штокман, стоявший на одной квартире с тремя сердобцами, тревожно всматривался в настроения красноармейцев и окончательно убедился в серьезнейшей угрозе, нависшей над полком, после того, как однажды резко столкнулся с сердобцами.

Четырнадцатого, уже в сумерки, на квартиру пришли двое сердобцев второй роты. Один из них, по фамилии Горигасов, не поздоровавшись, с поганенькой улыбкой посматривая на Штокмана и лежавшего на кровати Ивана Алексеича, сказал:

— Довоевались! Дома хлеб у родных забирают, а тут приходится воевать неизвестно за что...

— Тебе неизвестно, за что ты воюешь? — резко спросил Штокман.

— Да, неизвестно! Казаки — такие же хлеборобы, как и мы! Знаем, против чего они восстали! Знаем!..

— А ты, сволочь, знаешь, чьим ты языком говоришь? Белогвардейским! —

вскипел обычно сдержанный Штокман.

— Ты особенно-то не сволочи! А то получишь по усам! Слышите, ребята? Какой нашелся?!.

— Потеше! Потеше, бородатый! Мы вас — таковских — видывали! — вмешался другой, низенький и плотный, как мучной куль. — Ты думаешь, если ты коммунист, так можешь нам на горло наступать? Смотри, а то мы из тебя выьем норы! — он заслонил собою щупленького Горигасова, напирал на Штокмана, заложив куцые сильные руки за спину, играя глазами:

— Вы что же это?.. Все белым духом дышите? — задыхаясь, спросил Штокман и с силой оттолкнул наступавшего на него красноармейца. Тот качнулся, вспыхнул, хотел было ухватить Штокмана за руку, но Горигасов его остановил: — Не связывайся!

— Это — контрреволюционные речи! Мы вас будем судить, как предателей советской власти!

— Весь полк не отправишь в трибунал! — ответил один из красноармейцев, стоявших вместе со Штокманом на одной квартире. Его поддержали:

— Коммунистам и сахар и папиросы, а нам нету!

— Брешешь! — крикнул Иван Алексеич, приподнимаясь на кровати. — То же, что и вы, получаем!..

Слова не говоря, Штокман оделся, вышел. Его не стали задерживать, но проводили насмешливыми восклицаниями.

Штокман застал комиссара полка в штабе. Он вызвал его в другую комнату, взволнованно передал о стычке с красноармейцами, предложил произвести аресты их. Комиссар выслушал его, почесывая огненно-рыжую бородку, нерпительно поправляя очки в черной роговой оправе.

— Завтра соберем собрание ячейки, обсудим положение. А арестовывать этих ребят я не считаю возможным в данной обстановке...

— Почему? — резко спросил Штокман.

— Необходимо сообщить в штаб армии... Знаете ли, товарищ Штокман... Я сам замечаю, что у нас в полку неблагоприятно, вероятно существует какая-

то контрреволюционная организация, но прощупать ее не удастся. А в сфере ее влияния — большинство полка. Крестьянская стихия, что поделаешь? Я сообщил о настроении красноармейцев и предложил отвести полк и расформировать его.

— Почему вы не считаете возможным арестовать сейчас же этих агентов белогвардейщины и направить их в ревтрибунал дивизии? Ведь такие разговоры — прямая измена!

— Да, но это может вызвать нежелательные эксцессы и даже восстание.

— Вот как? Так почему же вы, видя такое настроение большинства, давно не сообщили в политотдел?

— Я же вам сказал, что сообщил. Из Усть-Медведицы что-то медлят с ответом. Как только полк отзовут, — мы строго покараем всех нарушителей дисциплины и, в частности, тех красноармейцев, которые говорили сообщенное вами сейчас...

Комиссар, нахмурился, шолотом добавил:

— У меня на подозрении Вороновский и... начштаба Волков. Завтра же, после собрания ячейки я выведу в Усть-Медведицу. Надо принять срочные меры по локализации этой опасности. Прошу вас держать в секрете наш разговор.

— Но почему нельзя сейчас созвать на собрание коммунистов? Ведь время не терпит, товарищ!

— Я понимаю, но сейчас невозможно. Большинство коммунистов в заставах и секретах... Я настоял на этом, так как доверять беспартийным в таком положении — неосмотрительно. Да и батарея, а в ней большинство коммунистов, только сегодня ночью прибудет с Крутовского. Вызвал в связи вот с этими волнениями в полку.

Штокман вернулся из штаба, в коротких чертах передал Ивану Алексеевичу и Мишке Кошевому разговор с комиссаром полка.

— Ходить ты еще не можешь? — спросил он у Ивана Алексеевича.

— Хромаю. Раньше-то боялся рану повредить, ну а уж зараз хочешь — не хочешь, а придется ходить.

Ночью Штокман написал подробное сообщение о состоянии полка и в пол-

ночь разбудил Кошевого, засовывая пакет ему за пазуху, сказал:

— Сейчас же добудь себе лошадь и скачи в Усть-Медведицу. Умри, а передай это письмо в политотдел 14 армии. За сколько часов будешь там? Где думаешь лошадь добыть?

Мишка, кряхтя, набивал на ноги рыжие ссохшиеся сапоги, с паузами отвечал:

— Лошадь украду... у конных разведчиков, а доеду до Усть-Медведицы... самое многое... за два часа. Лошади-то в разведке плохие, а то бы... за полтора! В атарщиках служил... Знаю, как из лошади... всю резвостью выжать.

Мишка перепрятал пакет, сунув его в карман шинели.

— Это зачем? — спросил Штокман.

— Штобы скорее достать, ежели сердобцы схватят.

— Ну?.. — все недопонимал Штокман.

— Вот тебе и «ну»! Как будут хватать. — Достану и заглону его.

— Молодец! — Штокман скупно улыбнулся, подошел к Мишке, крепко обнял его и с силой поцеловал холодными дрожащими губами. — Езжай.

Мишка вышел, благополучно отвязал от коновязи одну из лучших лошадей конной разведки и, шагом миновав заставу, все время держа указательный палец на спуске новенького кавалерийского карабина, бездорожно выбрался на шлях. Только там перекинул он ремень карабина через плечо, начал во-всю «выжимать» из куцехвостой саратовской лошаденки несвойственную ей резвость.

XLVII

На рассвете стал накрапывать мелкий дождь. Зашумел ветер. С востока надвинулась черная буревая туча. Сердобцы, стоявшие на одной квартире со Штокманом и Иваном Алексеевичем, встали, ушли едва лишь забрезжило утро. Полчаса спустя прибежал еланский коммунист Толкачев, как и Штокман со своими ребятами, приставший к Сердобскому полку. Едва лишь открыв дверь, он крикнул задыхающимся голосом:

— Штокман, Кошевой, дома? Выходите!

— В чем дело? Иди сюда! — Штокман вышел в переднюю комнату, на ходу натягивая шинель. — Иди сюда!

— Беда! — шептал Толкачев, следом за Штокманом входя во вторую комнату. — Сейчас пехота хотела разоружить возле станицы... возле станицы подъехавшую с Крутовского батарею. Была перестрелка... Батарейцы отбили нападение, орудийные замки сняли и на баркасах переправились на ту сторону...

— Ну-ну?.. — торопил Иван Алексеевич, со стоном натягивая на раненую ногу сапог.

— А сейчас возле церкви — митинг... Весь полк...

— Собирайся, живо! — приказал Ивану Алексеевичу Штокман и схватил Толкачева за рукав теплушки: — где комиссар? Где остальные коммунисты?..

— Не знаю... Кое-кто убежал, а я — к вам. Телеграф занят, никого не пускают... Бежать надо! А как бежать? — Толкачев растерянно опустил на сундук, уронив меж колен руки.

В это время по крыльцу загремели шаги, в хату толпою ввалились человек шесть красноармейцев-сердобцев. Лица их были разгорячены, исполнены злой решимости.

— Коммунисты, на митинг! Живо!

Штокман обменялся с Иваном Алексеевичем взглядами, сурово поджал губы:

— Пойдем!

— Оружие оставьте. Не в бой идете! — предложил было один из сердобцев, но Штокман, будто не слыша, повесил на плечо винтовку, вышел первый.

Тысяча сто глоток вразноголось гудели на площади. Жителей Усть-Хоперской станицы не было видно. Они спрятались по домам, страшась событий (за день до этого по станице упорные ходили слухи, что полк соединяется с повстанцами, и в станице может произойти бой с коммунистами). Штокман первый подошел к глухо гомонившей толпе красноармейцев, зашарил глазами, разыскивая кого-либо из командного состава полка. Мимо него провели комиссара полка. Двое красноармейцев держали его за руки. Бледный комиссар, подталкиваемый сзади, вошел в гущу непостроенных красноармейских рядов. На несколько минут Штокман потерял

его из виду, а потом увидел уже в середине толпы, стоящим на вытасченном из чьего-то дома ломберном столе. Штокман оглянулся: сзади него, опираясь на винтовку, стоял охромевший Иван Алексеевич, а рядом с ним — те красноармейцы, которые пришли за ними на митинг.

— Товарищи красноармейцы! — слабо зазвучал голос комиссара, — митинговать в такое время, когда враг от нас — в непосредственной близости... Товарищи!..

Ему не дали продолжать речь: около стола, как взвихренные ветром, заколебались серые красноармейские папахи, закачалась сизая щетина штыков, к столу протянулись сжатые в кулаки руки, по площади, как выстрелы, зазвучали озлобленные короткие вскрики:

— Товарищами стали!

— Кожаную тужурочку-то скидывай!

— Обманул!

— На кого ведете?!

— Тяни его за ноги!

— Бей!

— Штыком его!

— Откомиссарился!

Штокман увидел, как огромный немолодой красноармеец влез на столик, спал левой рукой короткий рыжий оклад комиссарской бородки. Столик качнулся, и красноармеец вместе с комиссаром рухнули на протянутые руки стоявших кругом стола. На том месте, где недавно был ломберный стол, вскипело серое мезиво шинелей, одинокий отчаянный крик комиссара потонул в слитном громе голосов.

Тотчас же Штокман ринулся туда. Нещадно расталкивая, пиная тугие серошинельные спины, он почти рысью пробирався к месту, откуда говорил комиссар. Его не задерживали, а кулаками и прикладами толкали, били в спину, по затылку, сорвали с плеча винтовку, с головы — красноеверхий казачий малахай.

— Куда тебя, чо-о-орт?.. — негодуя крикнул один из красноармейцев, которому Штокман больно придавил ногу.

У опрокинутого вверх ножками столика Штокману преградил дорогу приземистый взводный. Серой смушки папаха его была сбита на затылок, шинель рас-

пахнута настежь, по кирпично-красному лицу катил пот, разгоряченные замаслившиеся неумной злобой глаза косили.

— Куда пр-е-ешь?

— Слово! Слово рядовому бойцу!.. — прохрипел Штокман, едва переводя дух, и мигом поставил столик на ноги. Ему даже помогли взобраться на стол. Но по площади еще ходил перекатами яростный рев, и Штокман во всю мочь голосовых связок заорал:

— Мол-ча-а-ать!.. — и через полминуты, когда поулегся шум, подорванным голосом, подавляя кашель, чеканя слова, заговорил:

— Красноармейцы! Позор вам! Вы предаете власть народа в самую тяжелую минуту! Вы колеблетесь, когда надо твердой рукой разить врага в самое сердце! Вы митингуете, когда советская страна задыхается в кольце врагов! Вы стоите на границе прямого предательства! По-че-му?! Вас продали казачьим генералам ваши изменники-командиры! Они — бывшие офицеры — обманули доверие советской власти и, пользуясь вашей темнотой, хотят сдать полк казачкам! Опомнитесь! Вашей рукой хотят помочь душить рабоче-крестьянскую власть!

Стоявший неподалеку от стола командир второй роты, бывший прапорщик Вейстминстер, вскинул было винтовку, но Штокман, уловив его движение, крикнул:

— Не смей! Убить всегда успеешь! Слово — бойцу-коммунисту! Мы — коммунисты всю жизнь... всю кровь свою... Капля по капле... — голос Штокмана перешел на исполненный страшного напряжения тенорок, лицо мертвенно побледнело и перекопилось: — ...отдавали делу служения рабочему классу... угнетенному крестьянству. Мы привыкли бесстрашно глядеть смерти в глаза! Вы можете убить меня...

— Слыхали!

— Будет править арапа!

— Дайте сказать!

— А ну, замолчать!

— ...убить меня, но я повторяю: опомнитесь! Не митинговать надо, а итти на белых! — Штокман повел узко сведенными глазами по притихшей красноармейской толпе и заметил невдалеке от

себя командира полка Вороновского. Он стоял плечом к плечу с каким-то красноармейцем, насильственно улыбаясь, что-то шептал ему: — Ваш командир полка... — Штокман протянул руку, указывая на Вороновского, но тот, приложив ко рту ладонь, что-то встревоженно шепнул стоявшему рядом с ним красноармейцу, и не успел Штокман закончить фразы, как в сыром воздухе, напитанном апрельской влагой молодого дождя, приглушенно треснул выстрел. Звук винтовочного выстрела был неполон, тих, будто хлопнули нахвостником кнута, но Штокман, лапая руками грудь, упал на колени, поник обнаженной седоватой головой... И тотчас же, качнувшись, снова вскочил на ноги.

— Осип Давыдович! простонал Иван Алексеевич, увидев вскочившего Штокмана, порываясь к нему, но его схватили за локти, шепнули:

— Молчи! Не рыпайся! Дай сюда винтовку, сво-ла-ачь!

Ивана Алексеевича обезоружили, обшарили карманы, повели с площади. В разных концах ее обезоруживали и хватали коммунистов; в проулке, около осадистого купеческого дома вспышкой треснули пять или шесть выстрелов — убили коммуниста-пулеметчика, не отдававшего пулемет Люиса.

А в это время Штокман, со вспузырившейся на губах розовой кровью, судорожно икая, весь мертвенно белый, с минуту раскачивался, стоя на ломберном столе, и еще успел выкрикнуть, напрягши последние уходящие силы, остаток воли:

— ...вас ввели в заблуждение... Предатели... они заработают себе прощение, новые офицерские чины... Но коммунизм будет жить!.. Товарищи!.. Опомнитесь!..

И снова стоявший рядом с Вороновским красноармеец вскинул к плечу винтовку. Второй выстрел опрскинул Штокмана навзничь, повалил со стола под ноги красноармейцев. А на стол молодо вскочил один из сердобцев — длинноротый и плоскозубый, с изъеденным оспою лицом, зычно крикнул:

— Мы много тут слухали разных посулов, но это все, дорогие товарищи, есть голая брехня и угрозы. Скопырнувшись, лежит этот бородатый сратор, но со-

баке — собачья смерть! Смерть коммунистам — врагам трудового крестьянства! Я скажу, товарищи, дорогие бойцы, что наши теперь открытые глаза. Мы знаем, против кого надо идти! К при меру у нас в Вольском уезде, что было говорено? — равенство, братство народов! Вот что было говорено обманщиками-коммунистами... А что на самом деле получилось? Людоедство, дорогие братишечки! Хотя бы мой папашка — прислал нам сообщение и слезное письмо, пишет: грабеж идет несусветный среди белого дня! У того же, у моего папашки хлебец весь вымели и мельничушку забрали, а декрет так провозглашает за трудовое крестьянство? Если мельничушка эта трудовым потом моих родителей нажитая, тогда, я вас спрашиваю, это не есть грабеж и людоедство коммунистов? Бить их в дым и кровь!

Оратору не пришлось закончить речь: с запада в станицу Усть-Хоперскую на рысах вошли две конных повстанческих сотни, с южного склона обдонских гор спускалась казачья пехота, под охраной полусотни съезжал со штабом сам командир шестой повстанческой отдельной бригады, хорунжий Богатырев.

И тотчас же из надвинувшейся с востока тучи хлынул дождь, где-то за Доном над Хопром разостлался глухой раскат грома.

Сердобский полк начал торопливо строиться; вздвоил ряды. И едва лишь с горы показалась штабная конная группа Богатырева, бывший штабс-капитан Вороновский, с еще неслышанным красноармейцами командным рыком и клекотом в горле, заорал: — По-о-олк! Смирррр-на-ааа!..

XLVIII

Григорий Мелехов пять суток прожил в Татарском — за это время посеял себе и теще несколько десятин хлеба, а потом, как только из сотни пришел исхудавший от тоски по хозяйству, завшививший Пантелей Прокофьевич, стал собираться к отъезду в свою часть, по-прежнему стоящую по Чиру. Кудинов секретным письмом сообщил ему о начавшихся переговорах с командованием Сердобского полка, попросил отправиться, принять командование дивизией.

В этот день Григорий собрался ехать в Каргинскую. В полдень повел к Дону напоить перед отъездом коня и, спускаясь к воде, подступившей под самые прясла огородов, увидел Аксинью. Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг и за короткую минуту, пока подошел к Аксинье вплотную, — светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним...

Аксинья повернулась на звук шагов, на лице ее — несомненно притворное — выразилось удивление, но радость от встречи, но давняя боль, выдали ее. Она улыбнулась такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, он придержал коня, сказал:

— Здравствуй, Аксинья дорогая!

— Здравствуй.

В тихом голосе Аксиньи прозвучали стеньки самых чужеродных чувств: и удивления, и ласки, и горечи...

— Давно мы с тобой не гутарили.

— Давно.

— Я уж и голос твой позабыл...

— Скоро!

— А скоро ли?

Григорий держал напиравшего на него коня под узцы, Аксинья, утнув голову, крючком коромысла цепляла ведерную дужку, никак не могла зацепить. С минуту простояли молча. Над головами их, как кинутая тетивой, со свистом пронеслась чирковая утка. Ненасытно облизывая голубые меловые плиты, билась у обрыва волна. По разливу, затопившему лес, табунились белорунные волны. Ветер нес мельчайшую водяную пыль, пресный запах с Дона, могущественным потоком устремлявшегося в низовья.

Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи за Дон. Затопленные водой бледностволье тополя качали нагими ветвями, а вербы, опущенные цветом, — девичьими сережками, пышно вздымались над водой, как легчайшие, диковинные, зеленые облака. С легкой досадой и огорчением в голосе Григорий спросил:

— Что же?.. Неужели нам с тобой и погугарить не об чем? Чево же ты молчишь?

Но Аксинья успела овладеть собой, на похолодевшем лице ее уже не дрогнули единый мускул, когда она отвечала:

— Мы свое, видно, уж отгугарили...

— Ой ли?

— Да так уж, должно быть! Деревцо оно один раз в году цветет...

— Думаешь и наше отцвело?

— А то нет?

— Чудно все это как-то... — Григорий допустил коня к воде и, глядя на Аксинью, грустно улыбнулся: — А я, Ксюша, все никак тебя от сердца отовать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропастью легли... А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю до нынче. А вздумаю о тебе иной раз, начну вспоминать, как жили у Листницкова... Как любилась с тобой и от воспоминаний этих... Иной раз, вспоминая всю свою жизнь, глянешь, — а она, как порожний карман, вывернутый наизнанку...

— Я тоже... Мне тоже надо итить... Загугарились мы, — Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла покрытые вешним загаром руки, было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию лицом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий, молодой румянец.

— А ить никак наша любовь вот тут, возля этой пристани и зачиналась, Григорий. Помнишь? Казаков в этот день в лагеря провожали, — заговорила она, улыбаясь, и в окрепшем голосе ее зазвучали веселые нотки.

— Все помню!

Григорий ввел коня на баз, поставил к яслям. Пантелей Прокофьевич, по случаю проводов Григория с утра не поехавший на волочьбу, вышел из-под сара, спросил:

— Што же скоро будешь трогаться? Зерна-то дать коню?

— Куда трогаться? — Григорий рассеянно взглянул на отца.

— Доброва здоровья! Да на Картины-то?

— Я нынче не поеду.

— Што так?

— Да так... раздумал, — Григорий облизал спекшиеся от внутреннего жара губы, повел глазами по небу: — Тучки находят, должно, дождь будет, а мне какой же край мокнуть по дождю?

— Краю нет, — согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут назад видел со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять ухажи начались, — с тревогой думал старик. — Опять как бы не пошло у него с Натальей наперекосьяк... Ах, туды ево мать с Гришкой! И в ково он такой кобелина выродился, неужли в меня?» Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором березовый ствол на дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, наскоро порывшись в памяти, вспомнил, каким он сам был смолоду, решил: «В меня, чертяка! Ажник превзошел отца, сучий хвост! Побить бы его, штоб сызнова не начинал морочить Аксинье голову, не заводил смятения промеж семьи, да как его побить-то?»

В другое время Пантелей Прокофьевич, доглядев, что Григорий разговаривает с Аксиньей вдвоем, на издалеке от людей, не задумался бы потянуть его вдоль спины чем попадя, а в этот момент, — растерялся, ничего не сказал и даже виду не подал, что догадался об истинных причинах, понудивших Григория внезапно отложить отъезд. И все это потому, что теперь Григорий был уже не «Гришкой» — взгальным молодым казаком, а командиром дивизии, хотя и без погон, но «генералом», которому подчинялись тысячи казаков и которого все называли теперь не иначе, как Григорием Пантелеевичем. Как же мог он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего навсего в чине «урядника», поднять руку на генерала, хотя бы и родного сына? Субординация не позволяла Пантелею Прокофьевичу даже помыслить об этом, и оттого он чувствовал себя в отношении Григория связанно, как-то отчужденно. Всему виной было необычайное повышение Григория! Даже на пахоте, когда третьего дня Григорий сурово окрикнул его: «Эй, чево рот раззявил! Заноси плуг!..» — Пантелей Прокофьевич стерпел, слова в ответ не сказал... За последнее время они как бы по-

менялись ролями: Григорий покрикивал на постаревшего отца, а тот слыша в голосе его командную хрипотцу, суетился, хромал, припадая на короткую ногу, старался угодить...

«Дождя напужался! А ево и дождя-то не будет, откель ему быть, когда ветер с восходу и единая тучка посередь неба мельтешится! Подказать Наталье?» Озаренный догадкой, Пантелей Прокофьевич сунулся было в курень, но раздумал, убоявшись скандала, вернулся к недотесанной дрожине...

А Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу, вмазанному в комель печи и долго взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза... Из них уже глядела скорбная усталость...

Постояла Аксинья, а потом подошла к кровати, упала ничком и заплакала такими обильными, облегчающими и гладкими слезами, какими не плакала авным-давно.

Зимой над крутобережным скатом обдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в простонаречьи «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры. Они несут с покрытого гользинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно-искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледно-сиреневая по утрам и розовая на восходе солнца — повиснет над обрывом снежная громадина. Будет она — грозная безмолвием — висеть до поры, пока подточит ее из-под исподу оттепель, или — обремененную собственной тяжестью — толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз центробежной силой, с глухим и мягким гулом низринется она вниз, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая застенчиво жмущиеся по склону деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной пыли...

Многолетнему чувству Аксиньи, копившемуся подобно снежному наносу,

нужен был самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковое «Здравствуй, Аксинья дорогая!». А он? Он ли не был ей дорог? Не о нем ли все эти годы вспоминала она ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях возвращаясь все к нему же? Жила Аксинья и о чем бы ни думала, что бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно в думках своих была около Григория. Так ходит по кругу в чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо... Она до вечера пролежала на кровати, потом встала, опухшая от слез, умылась, причесалась и с лихорадочной быстротой, как девка перед смотринами, начала одеваться. Надела чистую рубашу, шерстяную бордовую юбку, покрылась, мельком взглянула на себя в зеркальце, вышла.

Над Татарским сизые стояли сумерки. Где-то на разливе полой воды тревожно кагакали казарки. Немощно-бледный месяц вставал из-за обдонских тополей. По воде лежала волнующаяся рябью зеленоватая стежка лунного света. Со степи еще засветло вернулся табун. По базам мычали ненаевшиеся молодой зелени коровы. Аксинья не стала доить свою корову, она выгнала из закута белоноздрого телка, припнула его к матери, и телок жадно прирос губами к тощему вымени, вертя хвостом, напряженно вытянув задние ноги.

Дарья Мелехова только что подоила корову и с цедилкой и ведром в руке направилась в курень, как в это время ее окликнули из-за плетня:

— Даша!

— Кто это?

— Это я, Аксинья... Зайди зараз ко мне на час.

— Чево это я тебе понадобилась?

— Дюже нужна! Зайди! ради Христа!

— Процежу вот молоко, — зайду.

— Ну, так я погожу тебя возля база.

— Ладно!

Спустия немного Дарья вышла. Аксинья ждала ее возле своей калитки. От Дарьи исходил теплый запах парного молока, запах скотиньего база. Она удивилась, увидев Аксинью не с подоткнутым подолом, а разнаряженную, чистую.

— Рано ты, соседка, управилась.

— Моя управа короткая без Степана.

Одна корова за мной, почти не стряпаюсь... Так всухомятку чево-нибудь пожую и все...

— Ты чево меня кликала?

— А вот зайди ко мне в курень на час... Дело есть.

Голоѣ Аксинья подрагивал. Дарья, смутно догадываясь о цели разговора, молча пошла за ней.

Не зажигая огня, Аксинья, как только вошла в горенку, открыла сундук, порылась в нем и, ухватив руку Дарьи своими сухими и горячими руками, стала торопливо надевать ей на палец кольцо.

— Чево это ты? Это никак кольцо? Это мне што ли?..

— Тебе! Тебе. От меня... в память...

— Золотое? — деловито осведомилась Дарья, подходя к окну, при тусклом свете месяца рассматривая на своем пальце колечко.

— Золотое, носи!

— Ну, спаси Христос! Чево нужно, за што даришь?

— Вызови мне... вызови Григория вавшева...

— Опять што ли? — Дарья догадливо улыбнулась.

— Нет, нет! Ой, што ты! — испугалась Аксинья, вспыхнув до слез, — мне с ним погутарить надо об Степане... Может, он ему отпуск бы исхлопотал...

— А ты чево же не зашла к нам? Там бы с ним и погутарила, раз у тебя до него дело, — съехидничала Дарья.

— Нет, нет... Наталья может подумать... Неловко...

— Ну, уж ладно, вызову. Мне ево не жалко!

Григорий кончал вечерять. Он только что положил ложку, обсосал и вытер ладонью смоченные взваром усы и, почувствовав под столом, как ноги его касаются чья-то чужая нога, повел глазами и заметил, как Дарья чуть приметно ему загнула.

«Ежели она мною покойнова Петра хочет заменить и зараз што-нибудь скажет про это, — побью! Поведу ее на гумно, завяжу над головою юбку и выпорю, как суку!» — озлобленно подумал Григорий, все это время хмуро принимавший ухаживанья невестки: Но, вылезши из-за стола и закурив, он неспе-

ша пошел к выходу. Почти сейчас же вышла и Дарья. Проходя в сенцах мимо Григория, на лету прижавшись к нему грудью, шепнула:

— У, злодейка! Иди уж... Кликала тебя.

— Кто? — дыхом спросил Григорий.

— Она.

Спустя час, после того, как Наталья с детьми уснула, Григорий в наглухо застегнутой шинели вышел с Аксиньей из ворот астаховского база. Они молча постояли в темном проулке и так же молча пшли в степь, манившую безмолвием, темнотой, пьяными запахами молодой травы. Откинув полу шинели, Григорий прижимал к себе Аксинью и чувствовал, как дрожит она, как сильными и редкими толчками бьется под кофтенкой ее сердце...

XLIX

На другой день, перед отъездом Григорий коротко объяснился с Натальей. Она отозвала его в сторону, шопотом спросила:

— Куда ночью ходил? Откель это так поздно возвратулся?

— Так уж и поздно!

— А то нет? Я проснулась — первые кочета кричали, а тебя ишо все не было...

— Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это — не твоево бабьего ума дело.

— А чево же он к нам не заехал ночевать?

— Спешил в Вешки.

— У ково же он останавливался?

— У Абощенковых. Они ему какой-то дальней родней доводются, никак.

Наталья больше ни о чем не спросила. Заметно было в ней некое колебание, но в глазах посвечивала скрытность, и Григорий так и не понял: поверила или нет?

Он наскоро позавтракал. Пантелей Прокофьевич пошел седлать коня, а Ильинична, крестя и целуя Григория, зашептала скороговоркой:

— Ты бога-то... бога, сынок, не забывай! Слухом пользовались мы, што ты каких-то матросов порубил... Господи! Да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ить вон гля какие дети растут, и у энтих, загубленных тобой тоже, небось, детки поостались... Ну, как же так можно? В

измальстве какой ты был ласковый да желанный, а зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж гляди-кошь сердце, как волчиное, исделалось... Послухай материю, Гришенька! Ты ить тоже не заговоренный, и на твою шею шашка лихова человека найдется...

Григорий невесело улыбнулся, поцеловал сухую материнскую руку, подошел к Наталье. Та холодно обняла его, отвернулась и не слезы увидел Григорий в сухих ее глазах, а горечь и потаенный гнев... Попрощался с детишками, вышел.

Придерживая стремя ногой, держась за жесткую конскую гриву, почему-то подумал: «Ну вот опять по-новому вернулась жизнь, а на сердце все так же холодновато и пусто... Видно и Аксютка зараз уже не сумеет заслонить эту пустоту»...

Не оглядываясь на родных, толпившихся возле ворот, он шагом поехал по улице и, проезжая мимо астаховского куреня, искоса поглядывая на окна, увидел в просвете крайнего в горнице окна Аксинью. Она, улыбаясь, искоса махнула ему расшитой утиркой и сейчас же скомкала ее, прижала ко рту, к потемневшим от бессонной ночи глазницам...

Григорий поскакал шибкой полевой рысью. Выбрался на гору и тут увидел на летнем шляху медленно подвигавшихся встреч ему двух всадников и подводу. В верховых угадал Антипа Бреховича и Стремянникова — молодого, черненького и бойкого казачишку с верхнего конца хутора. «Битых везут» — догадался Григорий, поглядывая на бычину подводу. Еще не поровнявшись с казаками, спросил:

— Ково везете?

— Алешку Шамиля, Томилина Ивана и Якова Подкову.

— Убитые?

— На смерть!

— Когда?

— Вчера, перед закатом солнца.

— Батарея целая?

— Целая. Это их, батарейцев-то наших, отхватили красные на квартире в Калиновом углу. А Шамиля порубили так... дуриком!

Григорий снял папаху, слез с коня. Подводчица — немолодая казачка с Чира — остановила быков. На повозке ряд-

ком лежали зарубленные казаки. Не успел Григорий подойти к ней, как ветерком уже нанесло на него сладковато-приторный запах. Алешка Шамиль лежал в середине. Синий старенький чекменишко его был распахнут, холостой рукав был подложен под разрубленную голову, а култышка давным-давно оторванной руки, обмотанная грязной тряпкой, всегда такая подвижная, была судорожно прижата к выпуклому заслону бездыханной груди. В мертвом оскале белозубого алешкиного рта навек застыла лютая злоба, на полубяньшие глаза глядели на синее небо, на проплывшее над степью облачко со спокойной и, казалось, грустной задумчивостью...

У Томилина лицо было неузнаваемо: да собственно и лица-то не было, а так нечто красное и бесформенное, наискось стесанное сабельным ударом. Лежавший на боку Яков Подкова был шафранно желт, кривошейей, оттого что ему почти начисто срубили голову. Из-под расстегнутого ворота защитной гимнастерки торчала белая кость перерубленной ключицы, а на лбу, повыше глаза, черной лучистой прозвездью кровянул пулевой надрез. Кто-то из красноармейцев, видимо, сжалившись над трудно умиравшим казаком, выстрелил в него почти в упор, так что даже ожог и черные пятнышки порохового запала остались на мертвом лице Якова Подковы.

— Ну, што же, братцы, давайте помянем своих хуторян, покурим за упокой их, — предложил Григорий, и, отойдя в сторону, отпустил подпруги на седле, разнуздal коня и, примотав повод к левой передней ноге его, пустил пощипать шелковистой стрельчатой вытянувшейся зеленки. Антип и Стремянников охотно спешили, стреножили коней, пустили на попас. Прилегли. Закурили. Григорий, поглядывая на клочковатосерстного, еще не вылинявшего быка, тянувшегося к межкому подорожнику, спросил:

— А Шамиль как погиб?

— Веришь, Пантелевич, — через свою дурь!

— Как?

— Да видишь, как оно получилось, — начал Стремянников, — вчера, солнце с полден, — выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой

вахмистра, чей он, Антип, вахмистр наш, с каким вчера ездили?

— А чума ево знает!.

— Ну, да чорт с ним! Он — незнакомый нам, чужой сотни. Да-а-а... Стало быть, едем мы себе, четырнадцать, нас казаков и Шамиль с нами. Он вчера весь день был веселый такой, значаща сердце ево ничево ему не могло подсказать! Едем, а он култышкой своей мотает, повод на луку кинул и гутарит: «Эх, да когда уж это наш Григорий Пантелеев придет! Хучь бы выпить с ним ишо да песенки заиграть!» И так, покуда доехали до Латышевского бутра, все раздишканивал:

Мы по горочкам летали,
Наподобье саранчи
Из берданочков стреляли,
Все — донские казачки!

И вот таким манером съехали мы, — это уже возле ажник Топкой балки, — в лог, а вахмистр и говорит: «Красных нигде, ребята, не видать. Они, должно, ишо из слободы Астаховой не выгружались. Мужики — они — ленивые рано вставать, небось, до се полуднуют, хочлачьих курей варют-жарют. Давайте и мы трошки поотдохнем, а то уж и кони наши взмокрели». «Ну, што ж, говорим, ладно». И вот спешились, лежим на траве, одново дозорнова выслали на пригорок. Лежим, гляжу, Алешка-покойник возля своо коня копається, чересподушечную подпругу ему отпускает. Я ему говорю: «Алексей! Ты бо подпруги-то не отпускал, а то не дай бог какова преха — придется естренно выступать, а ты когда ее подтянешь, подпругу-то, своей калекой-рукой? Но он оскалється: «Ишо скорей тебя управлюсь! Ты чево меня, кужонок зеленый, учишь?» Ну, с тем ослобонил подпругу, коня разнуздал; лежим, кто курит, кто сказочками занимается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже придремал. Лег — туды ж ево в перемет! — под кургашек и сны пушает. Только слышу вроде издадека конь пырскнул. Лень мне было вставать, но все ж таки встал, вылез из тово лога на бугор. Глядь, а с сотенник от нас по низу балочки красные едут. Попереди у них командир на гнедом коне. Конь под ним, как илев. И дисковый пулемет везут. Я тут кубырком в лог,

шумлю: «Красные! По коням!» И они могли меня узреть, зараз же слышим команду у них там подают. Попадали мы на коней, вахмистр было палаш обнажил, хотел в атаку бросаться. А игде же там в атаку, коли нас — четырнадцать, а их полусотня, да ишо пулемет при них. Кинулись мы верхи бечь, они было полосканули из пулемета, но только видют, што пулеметом им нас не посечь за тем, што спасает нас балка. Тогда они пошли в угон за нами. Но у нас кони резвей, отскакали мы, сказать, на лан длиннику, упали с коней и зачали весть отстрел. И только тут видим, што Алешки Шамиля с нами нету. А он, значит, когда поднялася томаха — к коню, черк целой рукою-то за луку, и только ногой — в стремя, а седло коню под пузо. Не вспоашился вскочить на коня, и остался Шамиль глаз на глаз с красными, а конь прибег к нам, из ноздрей ажник польемем бьет, а седло под пузой мотается. Такой полахливый зараз стал, што и человека не подпускает, храпит, как чорт! Вот как Алексей дубу дал! Кабы не отпускал чересподушечную, — живой бы был, а то вот... — Стремянников улыбнулся в черненые усики, закончил: — Он надьсь все итывал:

Уж ты, дедушка-ведьмедюшка,
Задери мою коровушку, —
Опростай мою головушку...

Вот ему и опростали ее, головушку-то... Лица не призначишь! Там из нево крови вышло, — как из резанова быка. Посля, когда отбили красных, сбегли в этот ложок, видим лежит. А крови под ним — огромная лужчина, весь подплыл.

— Ну, скоро будем ехать? — нетерпеливо спросила подводчица, сдвигая с губ кутавший от загара лицо головной платок.

— Не спеши, тетка, в лепеши. Зараз доедем.

— Как же не спешить-то? От этих убиенных такой чижелый дух идет, ажник с ног шибает!

— А с чево же ему легкому духу быть? И мясу жрали покойники и баб шщупали, а кто этими делами занимается, — энтот ишо и помереть не успеет, а уж зачинает приванивать. Гутарють, кубыть, у одних святых посля смерти

парение идет, а по-моему — живая брехня! Каксой бы святой ни был, а все одно пссля смерти по закону естества должно из него вонять, как из общественного нужника. Все одно и они — святые-то — через утробу пищу принимают, и кишек в них обретается положенные человеку от бога тридцать аршин... — раздумчиво заговорил Антип, но Стремянников неизвестно от чего вскипел, крикнул:

— Да на чорта они тебе нужны? Связался со святыми! Давай ехать!

Григорий попрощался с казаками, пошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами и только тут заметил, что они все трое разуты до боса, а три пары сапог подосланы голенищами им под ноги.

— Зачем мертвых разули?

— Это, Григорь Пантелеевич, наши казаки учинили... На них, на покойниках-то добрая обувка была, ну в сотне и присоветовали: доброе с них посянуть, для энтих, у ково плохонькая на ногах справа, а плохонькую привезть в хутор. У покойников ить семьи есть... Ну, детва ихняя и плохую износит. Анижушка так и сказал: «Мертвым ходить уж не придется и верхи ездить тоже, дайте мне алешкины сапоги, под ними подошва даже надежная. А то я пожеда добуду с краснова ботинки, — могу от простуды окачуриться»...

Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор — Стремянников звонким тенорком кричал:

— Брешешь ты, Брехович! На то и батяня твой был Брех! Не было из казаков святых! Все они мужичьева роду.

— Нет, был!

— Брешешь, как кобель!

— Нет, был!

— Кто?

— А Егорий Победоносец?

— Тюууу! Окстись, чумовой! Да рази ж он казак?

— Чистый — донской родом с низо-вой станицы, кубыть Семикаракорской.

— Ох, и гнешь! Хучь попарил бы спервоначалу. Не казак он!

— Не казак? А зачем его при пики изображают?

Дальше Григорий не слышал. Он тронул рысью, спустился в балочку и, пересекая Гетманский шлях, увидел, как

подвода и верховые медленно съезжают с горы в хутор.

Почти до самой Каргинской ехал Григорий рысью. Легонький ветерок поитрывал гривой ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебежали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. На буграх, на вершинных грубнях сбошь дороги взлетывали самцы-стрепеты. Снежно-белый, искрящийся на солнце стрепеток, дробно и споро махая крылами, шел ввысь и, достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лесе шею, опоясанную бархатисто-черным, брачным ожерелком, удаляясь с каждой секундой. А, отлетев с сотню сажен, снижался, еще чаще трепеща крылами, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперенье крыл и гасло: стрепет исчезал, поглощенный травой.

Призывное, неудержимо-страстное «тржиканье» самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле причирского бугра, в нескольких шагах от дороги Григорий увидел с седла стрепетинный точок: ровный круг земли, аршина полтора в поперечнике, был плотно вбит ногами бившихся за самку стрепетов. Ни былки не было внутри точка, одна серая пылица, испещренная крестиками следов, лежала ровным слоем на нем, да по обочинам на сухих стеблях бурьяна и полыни, подрагивая на ветру, висели бледно-пестрые, с розовым подбоем стрепетинные перья, вырванные в бою из спин и хлупей ратоборствующих стрепетов. Неподалеку вскочила с гнезда серенькая невзрачная стрепетка. Горбясь, как старушонка, проворно перебирая ножками, она перебежала под куст увядшего прошлогоднего донника, и, не решаясь подняться на крыло, затаилась там.

Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественная и полная кипучего биения, разворачивалась в степи: буйно росли травы, сокрытые от хищного человеческого глаза, в потаенных

степных убежищах поднимались брачные пары птиц, зверей и зверушек, пашни щетинились неисчислимыми остриями выметавшихся всходов... Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян — перекасти-поле — понуро сутулился на склонах рассыпанных по степи сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но живительный, свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, катил вдоль и поперек по осяянной солнцем, восставшей к жизни степи.

Григорий Мелехов приехал в Каргинскую перед вечером. Через Чир переправился в брод на стойле, около казачьей слободки, разыскал Рябчикова. На утро принял от него командование над разбросанными по хуторам частями своей первой дивизии и, прочитав последние приказы из штаба сводки, посветовавши со своим начштадивом, Михаилом Копыловым, решил наступать на юг до слободы Астахово.

В частях ощущалась острая нехватка патронов. Необходимо было с боем добыть их. Это и было основной целью того наступления, которое Григорий решил предпринять.

К вечеру в Каргинскую было стянуто три полка конницы и полк пехоты. Из двадцати двух ручных и станковых пулеметов, имевшихся в дивизии, решено было взять только шесть; на остальные не было лент.

Утром 22 апреля дивизия пошла в наступление. Григорий, кинув где-то по дороге штаб, взял на себя командование третьим конным полком, выслал вперед конные разъезды, походным порядком тронулся на юг, направлением на слободу Пономаревку, где, по сведениям разведки, сосредоточивались красноармейские пехотные полки 101 и 103, в свою очередь готовившие наступление на Каргинскую.

Верстах в трех от станицы его догнал нарочный, вручил письмо от Кудинова.

«2-го Сердобский полк сдался нам! Все солдатишки разоружены, человек двадцать из них, которые было забухтели, Богатырев свел со света; приказал порубить. Сдали нам четыре орудия (но замки проклятые коммунисты-батареицы успели посянуть); более 200 снарядов и

9 пулеметов. У нас — великое ликование! Красноармейцев распахаем по пешим сотням, заставим их бить своих. Как там у тебя? Да, чуть было не забыл. Захвачены твои земляки-коммунисты: Котляров, Кошевой и много еланских. Всем им наведут ухлай по дороге в Вешки. Ежели дюже нуждаешься в патронах, — собщи с сиим подателем, вышлем штук 500. Кудинов».

— Ординарца! — крикнул Григорий.

Прохор Зыков подскакал тотчас же, но, видя, что на Григория лица нет, от испуга даже под козырек взял:

— Чево прикажешь?

— Рябчикова! Где Рябчиков?

— В хвосте колонны.

— Скачи! Живо ево сюда!

Платон Рябчиков, на рыси обходя походную колонну, поровнялся с Григорием. На белоусом лице его кожа была вышелушена ветрами, усы и брови, припаленные вешним солнцем, отсвечивали лисьей рыжиной. Он улыбался, на скаку дымил цыгаркой. Темногнедой конь сытым телом, ни мало не сдавший за весенние месяцы, шел под ним веселой иноходью, посверкивая нагрудником.

— Письмо из Вешек? — крикнул Рябчиков, завидя около Григория нарочного.

— Письмо, — сдержанно отвечал Григорий. — Прймай на себя полк и дивизию. Я выезжаю.

— Ну что ж, езжай. А што за спешка? Што пишут? Кто? Кудинов?

— Сердобский полк сдался в Усть-Хопре.

— Ну-у-у? Живем ишо? Зараз едешь?

— Зараз.

— Ну, с богом! Покуда вернешься, — мы уж в Астаховом будем!

«Захватить бы живыми Мишку, Ивана Алексея... Дознайся, кто Петра убил... и выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить.. Кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы!?»... — думал Григорий, бешено охаживая коня плетью, наметом спускаясь с бутра.

L

Как только повстанческие сотни вошли в Усть-Хоперскую и окружили ми-

тинговавших сердобцев, комбриг 6 Богатырев с Вороновским и Волковым удалились на совещание. Происходило оно тут же возле площади, в одном из купеческих домов и было коротко. Богатырев, не снимая с руки плети, поздоровался с Вороновским, сказал:

— Все хорошо. Это вам зачтется. А вот как это орудий вы не могли сохранить?

— Случайность! Чистая случайность, господин хорунжий! Артиллеристы были почти все коммунисты, они оказали нашим отчаянное сопротивление, когда их начали обезоруживать, убили двух красноармейцев, и, сняв замки, бежали.

— Жалко! — Богатырев кинул на стол защитную фуражку, с живым следом недавно сорванной с околыша офицерской какарды, и, вытирая грязным носовым платком голоостриженную голову, пот на побуревшем лице, скуповато улыбнулся: — Ну, да и это хорошо. Вы сейчас ступайте и скажите своим солдатам... Погутаарьте с ними толком, чтобы они не тово... не этова... чтобы они все оружие сдали.

Вороновский, покоробленный начальственным тоном казачьего офицера, запинаясь, переспросил:

— Все оружие?

— Ну, я вам повторять не буду! Сказано все до гола, — значит все.

— Однако, ведь вами, господин хорунжий, и вашим командованием было же принято условие полк не разоружать? Как же так? Ну, я понимаю, разумеется, что пулеметы, орудия, ручные гранаты — все это мы безусловно должны сдать, а что касается вооружения красноармейцев...

— Красноармейцев теперича нет! — зло приподнимая бритую губу, повысил голос Богатырев и хлопнул по обрызганному грязью голенищу витою плетью. — Нету зараз красноармейцев, а есть солдаты, которые будут защищать донскую землю, па-нят-на?.. А не будут, — так мы сумеем их заставить! Нечего в похоронки играть! Шкодили тут на нашей земле, да ишо какие-то там условия выдумляешь! Нету промеж нас никаких условий, па-нят-на?

Начштаба Сердобского полка, молодой поручик Волков обиделся:

взволнованно бегая пальцами по пуговицам стоячего воротника своей черной суконной рубахи, ероша каракулевые завитки курчавейшего черного чуба, он резко спросил:

— Следовательно, вы считаете нас пленными? Так что ли?

— Я тебе этова не сказал, а стало быть нечево и наянливаться со своими угадками! — грубо оборвал его казачий комбриг, переходя на ты и уже явно выказывая, что собеседники его находятся от него в прямой и полной зависимости.

На минуту в комнате стало тихо. С площади доносился глухой гомон Вороновский несколько раз прошелся по комнате, похрустел суставами пальцев, а потом на все пуговицы застегнул свой теплый, цвета хаки френч и, нервически помаргивая, обратился к Богатыреву:

— Ваш тон оскорбителен для нас и не достоин вас, как русского офицера! Я вам это прямо говорю. И мы еще посмотрим, коли вы нас на это вызвали... посмотрим, как нам поступить... Поручик Волков! Приказываю вам: идите на площадь и скажите старшинам, чтобы ни в коем случае оружие казакам не сдавали! Прикажите полку стать в ружье, я сейчас окончу разговор вот с этим... с этим, господином Богатыревым и прииду на площадь.

Лицо Богатырева черной лапой испянил гнев, он хотел что-то сказать, но, уже осознавая, что сильно переборщил, сдержался и тотчас же круто переменял обращение. Рывком нахлобучив фуражку, все еще люто поитрывая махорчатой плетью, заговорил, и в голосе его появилась неожиданная мягкость и предупредительность:

— Господа, вы не так меня изволили понять. Я, конечно, воспитание не получал особых, таких, в юнкерских школах не проходил наук и, может, не так объяснялся, ну, да ить оно и не всякое лыко должно быть в строку. Мы ить все ж таки свои люди! Обиды промеж нас не должно быть. Как я сказал? Я сказал только, што надо зараз же ваших красноармейцев разоружить, особо какие из них для нас и для вас ненадежные... Я про этих и говорил!

— Так позвольте же! Надо было объяснить яснее, господин хорунжий! И

потом, согласитесь, что ваш вызывающий тонэ все ваше поведение... — Вороновский пожал плечами и уже миролюбивей, но с оттенком неостывшего негодования, продолжал: — Мы сами думали, что колеблющихся, неустойчивых надо обезоружить и передать в ваше распоряжение...

— Вот-вот! Это самое!

— ... Так ведь и я же говорю, что мы решили сами их обезоружить, а что касается нашего боевого ядра, то мы его сохраним. Сохраним во что бы то ни стало! Я сам, или вот поручик Волков, которому вы, не будучи с ним коротко знакомы, сочли позволительным для себя «тыкать»... Мы возьмем на себя командование и сумеем с честью смыть с себя позор нашего пребывания в рядах Красной армии. Вы должны предоставить нам эту возможность.

— Сколько штыков будет в этой вашей ядре?

— Приблизительно около двухсот.

— Ну, што ж, ладно, — нехотя согласился Богатырев. Он встал, приоткрыл дверь в коридор, зычно крикнул: — «Хозяйка!» — и когда в дверях появилась пожилая, покрытая теплым платком женщина, приказал: — Преснова молока! На одной ноге мне!

— Молока у нас нет, извините, пожалуйста.

— Для красных, небось, было, а как нам, — нету? — кисло улыбнулся Богатырев.

Снова неловкая тишина установилась в комнате. Поручик Волков прервал ее. — Мне итти?

— Да, — со вздохом отвечал Вороновский. — Идите и прикажите, чтобы были разоружены те, которые намечены у нас по спискам. Списки У Горигасова и Вейстминстера.

Только задетое офицерское самолюбие понудило его сказать, что, дескать, «мы еще посмотрим, сдавать нам оружие или нет!» На самом деле штабс-капитан Вороновский прекрасно понимал, что игра его сыграна и отступать уже некуда. По имеющимся у него сведениям, из Усть-Медведицы уже двигались и с часу на час должны были прибыть силы, брошенные штаббармом на разоружение мятежного Сердобского

полка. Но и Богатырев успел осознать, что Вороновский — надежный и абсолютно безопасный человек, которому теперь попятиться назад уже нельзя. Он на свою ответственность согласился на формирование из надежной части полка самостоятельной боевой единицы. На этом совещание окончилось.

А тем временем на площади повстанцы, не дожидаясь результатов совещания, уже приступили к энергичным действиям по разоружению сердобцев. По обозным полковым фурманкам и двухколкам шарили жадные казачьи глаза и руки, брали нарасхват не только патроны, но и толстоподошвенные желтые красноармейские ботинки, мотки обмоток, теплушки, ватные штаны, продукты. Человек двадцать сердобцев, воочию убедясь, как выглядит казачье самоуправство, попытались было оказать сопротивление. Один из них ударил прикладом обыскивавшего его повстанца, спокойно переложившего кошелек красноармейца к себе в карман, крикнул:

— Грабитель! Что берешь?! Даеть назад, а то — штыком!

Его поддержали товарищи. Взметнулся возмущенный крик:

— Товарищи, к оружию!

— Нас обманули!

— Не давай винтовок!

Возникла рукопашная, и сопротивлявшихся красноармейцев отеснили к забору конные повстанцы, поощряемые командиром 3 конной сотни, вырубив их в две минуты.

С приходом на площадь поручика Волкова разоружение пошло еще успешнее. Под проливным дождем выстроившихся красноармейцев обыскивали; тут же неподалеку от строя слаживали в кусты винтовки, пранаты, имущество полковой телефонной команды, ящики винтовочных патронов и пулеметных лент...

Богатырев прискакал на площадь и, во все стороны поворачиваясь перед строем сердобцев на овоем разгоряченном, переплясывающем коне, угрожающе подняв над головой символ казачьего правосудия — толстенькую витую плеть, крикнул:

— Слушай, сюда! Вы с noneшневa дня будете биться с злодеями-коммунистами и ихними войсками. Кто пойдет с нами

бесперечь, — энтот будет прощен, а кто взноровится, — тому вот такая же будет награда! — и указал плетью на порубленных красноармейцев, уже раздетых казачками до белья, сваленных в бесформенную, мокнущую под дождем, белую кучу.

По красноармейским рядам рябью прошел тихий шопот, но никто не сказал полным голосом ни одного слова простета, ни один не изломал рядов...

Всюду толпами и в разбивку шныряли пешие и верховые казаки. Они плотным кольцом окружали площадь. А возле церковной ограды на пригорке стояли повернутые в сторону красноармейских шеренг, полоротые, выкрашенные в зеленое сердобские пулеметы, и около них за щитками в готовности присели намочившие казаки-пулеметчики...

Через час Вороновский и Волков отобрали по спискам надежных красноармейцев. Их оказалось 194 человека. Вновь сформированная часть получила название «Первого отдельного повстанческого батальона», в этот же день вышла на позиции к хутору Белавинскому, откуда вели наступление кинутые с Донца полки 23 Мироновской дивизии. По слухам, шли мироновские полки 15 под командой Быкадорова, а 32 вел знаменитый Мишка Блинов; шли, они, сокрушая противостоявшие им повстанческие сотни; одну из них, опешно выставленную каким-то хутором Усть-Хоперского юрта, искрошили в дым. Против Блинова и решил Богатырев выставить батальон Вороновского, опробовать стойкость его в боевом крещении...

Остальные сердобцы в количестве 800 с лишним человек были направлены пешим порядком по над Доном в Вешенскую; так как в письме на имя Богатырева в свое время приказывал командующий повстанческими силами Кудинов. В назирку за ними пошли обдонским бугром три конных сотни, вооруженных сердобскими пулеметами...

Перед отъездом из Усть-Хоперской Богатырев отслужил в церкви молебен, и едва лишь кончился возглас попа, молившего о даровании победы «христовлюбивому казачьему воинству», — вышел. Ему подвели коня. Сел, поманил к себе командира одной из сотен, засло-

ном оставленных в Усть-Хоперской, перехилившись с седла, шепнул ему на ухо:

— Коммунистов охраняй дюжей, чем пороховой погреб! Завтра с утра гони их в Вешенскую под надежным конвоем. А нонче пошли по хуторам гонцов, штобы оповестили, каких типов гоним. Их народ будет судить своим судом!

С тем уехал.

LI

Над хутором Сингином Вешенской станицы в полдень 20 апреля появился аэроплан. Привлеченные глухим рокотом мотора, детишки, бабы и старики выбежали из куреней, задрав головы, приложив к глазам щитки ладоней, долго глядели, как аэроплан в заволоченном пасмуре поднебесьи, крепясь, описывает коршунычьи круги. Гул мотора стал резче, звучней. Аэроплан шел на снижение, выбрав для посадки ровную площадку за хутором, на выгоне.

— Зараз начнёт бонбы метать! Держися! — испуганно крикнул какой-то догадливый дед.

И собравшаяся на проулке толпа брызнула врассыпную. Бабы тянули волском взревевшихся детишек, старики с козьиной сноровкой и проворством прыгали через плетни, бежали в левады. На проулке осталась одна старуха. Она тоже было побежала, но то ли ноги подломились от страха, то ли споткнулась о кочку, только упала, да так и осталась лежать, бесстыже задрав тощие ноги, безголосо зывая:

— Ой, спаситя, родимые! Ой, смертынька, моя!

Спасать старуху никто не вернулся. А аэроплан, страшно рыча, с буревым ревом и свистом, пронесся чуть повыше амбара, на секунду закрыл своей крылатой тенью белый свет от вытарашенных в смертном ужасе старухиных очей; пронесся и, мягко ударившись колесами о влажную землю хуторского выгона, побежал в степь. В этот-то момент со старухой и случился детский грех. Она лежала жолумертвая, ничего ни под собой, ни вокруг себя не слыша, не чуя. Понятно, что она не могла видеть, как на издельке из страшной приземлив-

шейся птицы вышли два человека в черной кожаной одежде и, нерешительно потоптавшись на месте, озираясь, тронулись к двору.

Но схоронившийся в леваде, в прошлогодней заросли ежевичника, старик ее был мужественный старик хоть сердце у него и колотилось, как у пойманного воробья, но он все же имел смелость смотреть. Он-то и угадал в одном из подходящих к его двору людей — офицера Богатырева Петра, сына своего полчанина. Петр, доводившийся Григорию Богатыреву — командиру 6-й погранской отдельной бригады — двоюродным братом, отступал с белыми за Донец. Но это был несомненно он.

Старик с минуту пытливо вглядывался, по-заячьи присев и свесив руки. Окончательно убедившись в том, что медленно, вразвалку идет доподлинный Петро Богатырев, такой же голубоглазый, каким он видел его в прошлом году, лишь немного обросший щетинкой давно небритой бороды, — старик поднялся на ноги, попробовал, могут ли они его держать? Ноги только слегка подрагивали в поджилках, но держали исправно; и старик иноходью засеменял из левады.

Он не подошел к поверженной в прах старухе, а напрямик направился к Петру и его спутнику, издали снял с лысой головы свою выцветшую казачью фуражку. И Петр Богатырев угадал его, приветствовал помахиванием руки, улыбкой. Сошлись.

— Позвольте узнать, истинно ли это вы, Петро Григорич?

— Я самый, дедушка!

— Вот сподобил господь на старости годов увидеть летучую машину! То-то мы ее и перепугались!

— Красных поблизости нету, дедушка?

— Нету, нету, милый! Прогнали их ажник куда-то за Чир, в холмы.

— Наши казаки тоже восстали?

— Встать-то встали, да уж многих и обратно положили...

— Как?

— Побили, то-есть.

— Ааа... семья моя, отец, все живые?

— Все. А вы из-за Донца? Мово Тихона не видали там?

— Из-за Донца. Поклон от Тихона привез. Ну, а ты, дедушка, покарауль нашу машину, чтобы ребятишки ее не трогали, а я — домой. Пойдемте.

Петр Богатырев и его спутник пошли. А из левад, из-под сараев, из погребов и всяческих щелей выступил спасавшийся там перепуганный народ. Толпа окружила аэроплан, еще дышавший жаром нагретого мотора, пахучей гарью бензина и масла. Обтянутые полотном крылья его были во многих местах продырявлены пулями и осколками снарядов. Невиданная машина стояла молчаливая и горячая, как загнанный конь.

Дед — первый встретивший Петра Богатырева — побежал в проулок, где лежала его поваленная ужасом старуха, чтобы обрадовать ее сведениями о сыне Тихоне, отступившем в декабре с окружным правлением. Старухи в проулке не было. Она успела дойти до куреня и, забившись в кладовку, торопливо переодевалась: меняла на себе рубашу и юбку. Старик с трудом разыскал ее, крикнул:

— Петька Богатырев прилетел! От Тихона низкий поклон привез! — и несказанно возмущился, увидев, что старуха его переодевается. — Чево это ты, старая карга, наряжаться вздумала? Ах, фитин твоей матери! И кому ты нужна, чертяка облезлая? Чисто — молоденькая!..

... Вскоре в курень к отцу Петра Богатырева пришли старики. Каждый из них входил, снимал у порога шапку, крестился на иконы и чинно присаживался на лавку, опираясь на костыль. Завязался разговор. Петро Богатырев, потягивая из стакана холодное неснятое молоко, рассказал о том, что прилетел он по поручению донского правительства, что в задачу его входит установить связь с восставшими верхнедонцами и помочь им в борьбе с красными доставкой на самолетах патронов и офицеров; сообщил, что скоро донская армия перейдет в наступление по всему фронту и соединится с армией повстанцев. Попутно Богатырев пожурил стариков за то, что плохо воздействовали на молодых казаков, бросивших фронт и пустивших на свою землю красных. Закончил он свою речь так:

— Но уже поскольку вы образумились и прогнали из станиц советскую власть, то донское правительство вас прощает.

— А ить у нас, Петро Григорич, советская власть зараз, за вычетом коммунистов. У нас ить и флак не трех цветов, а красный с белым, — нерешительно сообщил один из стариков.

— Даже в обхождении наши молодые-то, сукины дети, неслухменники, один — одново «товарищем» козыряют! — встал другой.

Петр Богатырев улыбнулся в подстриженные рыжеватые усы и, насмешливо сощуриив круглые голубые глаза, сказал:

— Ваша советская власть — как лед на повесне. Чуть солнце пригреет — и она сойдет. А уж зачинщиков, какие под

Калачом фронт бросали, как только вернемся из-за Донца, — пороть будем!

— Пороть окаянных до крови!

— Уж это форменно!

— Пороть! Пороть!

— Всенародно сечь, покеда пообмочутся! — обрадованно загомонили старики.

К вечеру — оповещенные конно-нарочным — на взмыленной тройке, запряженной в тарантас, прискакали в Сингин командующий повстанческими войсками Кудинов и начштаба Илья Сафонов.

Грязи не обмахнув с сапог и брезентовых плащей, до-нельзя обрадованные прилетом Богатырева, они чуть не на рысях вбежали в богатыревский курень.

(Продолжение следует)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон. <i>Роман</i> , часть шестая (продолжение) . . .	3
В. КУДАШЕВ— Камень на дороге. <i>Роман</i> , (продолжение)	21
С. ЛЕОНОВ— Последний подарок. (<i>Из книги новелл</i>)	47
С. ЩИПАЧЕВ— Эжен Потье. <i>Стих</i>	54
ЭС-ХАБИБ-ВАФА— Индусенки негодуют. <i>Стих</i>	55
М. ЗОТОВ— Старый закал. <i>Рассказ</i>	57
 ЖИЗНЬ НА ХОДУ	
Г. КИШ— Карьера Адольфа Гитлера (продолжение)	63
АЛ. ИСБАХ— Коломенские записки	74
Н. ДОБЫЧИН— Чабаны	84
 ПЕРЕЖИТОЕ	
Ф. ФРЕД — „Форду безразлично“	99
 ПУБЛИЦИСТИКА	
П. ЮДИН— Борьба на два фронта в философии и гегелевская диалектика	112
И. РАЗИН— В сумерках буржуазной культуры	123
 КРИТИКА	
Г. ЛУКАЧ— Чем является для нас Гете	130
А. СЕРАФИМОВИЧ — Живой завод	138
А. СЕЛИВАНОВСКИЙ— О ведущей оси пролетарской литературы . .	141
А. МИТРОФАНОВ— За высокую художественность	161
М. ПЛАТОШКИН— На правильном пути	163
В. СТАВСКИЙ— Книга о борьбе за социализм	167
Д. МАЗНИН— «Нашгород» и его апологет И. Нович	172
 БИБЛИОГРАФИЯ	
Б. ДРУГОВ— В. Перцов — «Писатели на производстве».	186
И. ПАВЛОВ— Ал. Яковлев — «Ударный сокол»	188 ⁴
Г. К. — Лапин и Хацревин — «Америка граничит с нами».	189
Ю. ГАЛКИН— Фраерман — «Васька Гиляк»	190

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1932 ГОД

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА	Кол. № № в год	Подписная цена на			Рознич- ная цена
		Год	6 мес.	3 мес.	
На литературном посту	36	10	5	2.50	35
Пролетарская литература (бывш. РАПП).	6	7.50	3.75	—	1.50
Красная новь	12	12	6	—	1.10
Октябрь	12	12	6	2	1.10
Наши достижения	12	5	2.50	1.25	50
За рубежом	12	6	3	1.50	60
Земля советская	12	9	4.50	2.25	90
Комбайн	24	2	1	—	10
Литература мировой революции (на рус- ском языке)	12	10	5	2.50	1
Интернациональная литература (на немец- ком языке)	6	6	3	—	1
То же на английском языке	6	6	3	—	1
То же на французском языке	6	6	3	—	1
Литература и марксизм	6	5	2.50	—	1
Марксистско-ленинское искусствознание (б. Литература и искусство)	12	12	6	3	1.25
Пролетарский авангард	12	6	3	1.50	60
Бюллетень художественной литературы .	12	3	1.50	—	30
Пролетарское кино	24	7.50	3.75	—	35
30 дней	12	6	3	—	60
Роман-газета	12	2.50	1.25	—	25
Звезда	12	10	5	2.50	1.10
Перелом (для колхозников)	12	3.60	1.80	90	35
Ленинград	12	8	4	2	75
Залп	12	5.80	2.75	1.35	50
Рабочий театр	36	7.20	3.60	1.80	20
Литературная учеба, II курс	10	5	—	—	60
Бригада художников	12	10	5	2.50	1
За пролетарское искусство	24	7.50	3.75	—	35
Советский музей	6	6	3	—	25

Ввиду ограниченности тиражей аккуратное получение журналов гарантируется только тем подписчикам, которые своевременно внесли полную подписную плату.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

во всех отделениях, магазинах, киосках Книгообъединения ОГИЗа, его уполномоченными и всюду на почте и письменносцами.